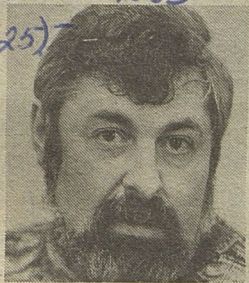


Экран и сцена — 1995
29 июня —
6 июля (№25)
с. 6-7



Г

ГОСУДАРСТВО, разумеется, не от хорошей жизни ставит не на гения, а на злодейство.

Насчет злодейства я, пожалуй, выразился слишком хлестко — общо — и, значит, неточно.

Не на злодейство, конечно, — на посредственность. Государство в принципе не против гениев. Оно, в конце концов, открывает им музеи. Куда же денешься от того, что никто, кроме гения, не увековечит в истории и власть, которую его мучила, и время, в котором мучились они вместе — по разным причинам. Тем не менее, государство вынуждено ставить на тех, кого, во-первых, гораздо больше и кто, в отличие от гениев, хоть сколько-нибудь дисциплинированно выполняет предначертанное свыше.

Но уж как-то получается, что массу посредственности привлекает и увлекает злодейство, разворачивающееся в наши дни с поистине метафорическим размахом — и государственная ставка чаще всего оказывается бита.

В прошлое воскресенье таджик — сосед мой по Дому творчества напомнил, что я обещал ему пойти с ним в музей Пастернака. Обещал я, не скрою, по горячке и неумению отказывать: никому и ни в чем — и не от доброты, прямо скажем, а по слабости характера.

Очень долго объяснять: почему входить в этот дом, как в музей, казалось мне противоестественным. Мне вполне достаточно частых прогулок по аллее, все сильнее темнеющей от разросшихся деревьев, мимо дач, за чьи калитки и ворота не заходил я с детства. Прогулки, разрешающие постоянно прикосновения взглядом, образуют или сохраняют необходимое для интимности воспоминания расстояние. Нужна, вероятно, тишина внутри себя, чтобы различить исчезнувшие голоса. Иногда, услышав их эхо в чужих мемуарах, я уже не досаду испытываю, а смятение. Но это уже «другая драма», говоря словами хозяина дома, в который мы шли.

В музее Пастернака

За те семь минут, что добирались мы до музея, выяснилось, что спутник-таджик скорее человек политики — и Пастернака вовсе не читал, знает о нем только как о давнем бунтаре, наказанном властями.

У крыльца, над которым теперь вывеска, сообщающая про музей, я стоял каких-то сорок лет назад — ждал сына поэта, моего приятеля Ленью, куда-то мы собирались ехать на его мотоцикле «Ява».

Леня давно уже покоится на кладбище рядом с отцом и матерью, а я все никак не поумнею — зачем-то мне надо произвести впечатление на солидного молодого человека, по-видимому, зрителя музея. Я с неуместной для посетителя покровительственностью хвалю здешних сотрудников за хорошую мысль — вновь вскопать огород на дачном участке: возникает эффект присутствия хозяев, вспоминается сразу копающийся в грядках Борис Леонидович. Ученый молодой человек смотрит на меня со строгим недоумением.

Мы проходим в дачу. И ожог превращенного в экспонаты быта, сформировавшего стиль и склад моего детства, намного чувствительнее оказывается, чем ожидаемые литературные ассоциации. Холодильник ЗиС, самый первый отечественный телевизор, сапоги, в которых работал на огороде поэт, прорезиненный плащ — в нем шел Пастернак в горку от переделькинского пруда, когда учился я управлять автомобилем «Победа» и едва не задавил будущего нобелевского лауреата (вот и вошел бы в историю и не мучился тщеславием).

Мы поднялись на второй этаж — в кабинет. За окнами, как уже замечено влюбленными в поэзию Пастернака людьми, пейзаж, превратившийся в сплошную цитату из его стихов. Правда, «образу мира, явленному» в словах самого последовательно субъективного лирика двадцатого столетия суждено быть долговечнее меняющейся только к худшему реальности — из метафоры превратиться в документ высшей доказательности правоты гармонии, а не всепоглощающего азарта разрушения и пошлого пафоса переустройства существующего.

Речка Сетунь безнадежно обмелела и при жизни Бориса Леонидовича, но ее течение соединяет прошедшие века, и она, игнорируя высокопарность, впадает в следующий век. «Какая птица долетит до середины Днепра»... Весь Пастернак, может быть, только в том, что никакой сверхсовре-

менный самолет не долетит до середины увиденной им Сетуни, в которую бежал он по утрам окунуться.

На втором этаже, однако, я больше думал о справедливости презрительного взгляда на меня смотрителя.

Хозяин этого дома с наставительностью, всегда вызывающей в каждом из нас протест, советовал жить без самозванства.

В способности обойтись без такого соблазна из соблазнов он обнаруживал единственную возможность естественного родства с пространством и с будущим, остаться без которого мы рискуем.

Кто мог ожидать, что мой таджик, не читавший «Доктора Живаго», разглядывал в даче-музее больше, чем я, собою занятый и себя вдруг возмнивший в приливе воспоминаний частицей исторического Переделкина? Меня поразила сказанная им на выходе фраза, не вполне сформулированная, но из-за неотесанности мысли весомая — о тесноте и просторе дома, открывшегося нам, как книга с середины.

Я сказал вначале, что готов понять государство, вынужденное постоянно делать ставку на посредственность.

Но живем-то мы в обстоятельствах, где самый трезвый и реалистический расчет — ставить все-таки на гениев, при всех связанных с неординарностью этой ставки неудобствами и непривычностью.

Александр НИЛИН.